

Павел Загробельный
❦ РОКСОЛАНА ❦

РОКОВАЯ ЛЮБОВЬ
СУЛЕЙМАНА
ВЕЛИКОЛЕПНОГО



Роксолана

Павел Загребельный

**Роксолана. Роковая любовь
Сулеймана Великолепного**

«Издательство АСТ»

1980

Загребельный П. А.

Роксолана. Роковая любовь Сулеймана Великолепного /
П. А. Загребельный — «Издательство АСТ», 1980 — (Роксолана)

ISBN 978-5-17-079030-2

Исторический роман известного писателя П. А. Загребельного (1924–2009) рассказывает об удивительной судьбе украинской девушки Анастасии Лисовской, захваченной в плен турками и, впоследствии, ставшей женой султана Сулеймана Великолепного. Под именем Роксоланы она оставила заметный след в политической жизни своего времени. Книга также выходила под названием «Роксолана. В гареме Сулеймана Великолепного».

ISBN 978-5-17-079030-2

© Загребельный П. А., 1980

© Издательство АСТ, 1980

Содержание

Книга первая	6
Море	6
Ибрагим	11
Рогатин	23
Отара	30
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Павел Загребельный

Роксолана. Роковая любовь

Сулеймана Великолепного

© Загребельный П. А., наследники, 2013

© ООО «Издательство АСТ», 2013

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Книга первая Вознесение

Море

О біле каміння серце посічу...

П. Тычина

Назвали его Черным, ибо черная судьба его, и черные души на нем, и дела тоже черные. Кара Дениз – Черное море.

На Чорному морі на білому камені
Ясенький сокіл жалібно квилить проквіляє.
Смутно себе має, на Чорне море спільна поглядає.
Що на Чорному морю недобре ся починає.
Що на небі усі звізди потьмарило,
Половину місяця в хмари вступило,
А із низу буйний вітер повіває,
А по Чорному морю супротивна хвиля встає...

Не вздымалась злосупротивная волна навстречу турецкой кадриге¹, море было тихое, ветер начинался ежедневно после захода солнца, дул всю ночь с берега, но вода от него лишь слегка морщижилась, к утру же залежала мертвая тишина на воде и в воздухе, и только после полудня задувал с моря свежий ветерок, поворачивал за солнцем, точно гонясь за ним, и умирал к вечеру вместе с солнцем.

Так и состязались здесь извека два ветра – один с суши, другой с моря – и летели над водами дальше, дальше, в беспредельность.

Кадрига кралась вдоль берега, не решаясь выйти на широкий простор этого переполненного водами исполинских славянских рек моря, непроглядного в глубинах, таинственно-неприступного, черного, как шайтан, Кара Дениз...

Три паруса – один красный, два зеленых – едва надувались, кадригу гнали вперед своими веслами галерники, на двадцати шести лавках по четыре гребца, голые до пояса, бритоголовые, в кандалах, прикованные к толстенной цепи, змеившейся по дну кадриги. Ни выпрямиться, ни места переменить, спали и ели посменно на своих лавицах, волны били в них, солнце жгло, ветер рвал тело, пот заливал глаза, а вдоль помоста, проложенного над галерниками, бежал с канчуком евнух-потурнак – ключник, похожий на старого вола, евнух, наделенный силой тоже чуть ли не воловьей, в высокой чалме, в расхристанном шелковом халате, тряс жирной грудью, кричал до пены на губах, подгоняя гребцов, а они и сами с каждым взмахом весел, словно бросая в проклятую воду не только весла, но и всю свою силу, выдыхали из себя дико, с ненавистью: «Г-гик! Р-рык! Г-гик! Р-рык!»

Хоча й би синее море розіграло,
Хоча й би турецький корабель розірвало...

¹ Кадрига – галера.

На демене-корме – натянут от солнца и непогоды навес из полосатого болого с синим – египетского полотна. Старый Синам-ага, страдая от хворей, устало поглядывает на шестерых, прикованных друг к другу, красивых молодых чернооких женщин в железных ошейниках. Кто может измерить всю глубину отчаяния старого Синам-аги, который был вынужден заковать в жестокое железо эти молодые тела, полные отчаянья еще большего! Все они похищены и пленены, а две из них еще и оторваны от грудных младенцев, все проданы на невольничьем торге в Кафе, почти нагими брошены на кадригу (пусть свежий ветер Кара Дениза золотит их молодые влекущие тела), скованы железом, чтобы спасти их от отчаянья и от нечестивых попыток найти себе смерть в волнах. Кадрига крадется вдоль берега, пробивается все дальше и дальше на юг, к благословенным землям Анатолии, к Босфору, к священному Стамбулу, где этих молодых чужестранок уже ждут в гаремах. Сказано у поэта: «Бери чаще новую жену, чтобы для тебя всегда длилась весна. Старый календарь не годится для нового года». И старые глаза Синам-аги, утомленные суетой и несовершенством мира, отдыхают на гибких белых телах полонянок. И хоть не подобает правоверному созерцать греховную женскую наготу, так пусть хоть глаза старого Синам-аги утешаются в пути созерцанием славянских рабынь, коли уж тело немощно. Ибо сказано: «Аллах хочет облегчить вам; ведь сотворен человек слабым». Да и что ему, старому Синам-аге, эти шесть пленниц? Может, он и взял их на кадригу разве что для отдохновения очей своих? Вез же в Стамбул, на знаменитый Бедестан, где продаются самые дорогие под лунной рабы, молодую белотелую девчушку с волосами червонного золота, отливающими огнем потусторонним, пятнадцатилетнюю, дерзкую, непокорную и – о всемогущество аллаха единого и милосердного! – смешливую и беззаботную!

Девчушка не закована в железо, не прикована ни к кадриге, ни к несчастным своим подругам, не светит она нагим телом, а укутана заботливо в шелка, чтобы тело ее не утратило нежности; жилистый евнух-суданец, посвященный в непостижимое искусство древнего Мисра², натирает девчушку какими-то благовониями, расчесывает ее золотые волосы, а она то шаловливо подставляет себя под это чужеземное лелеянье, то увертывается и летит к борту кадриги так, словно собирается утопиться, и Синам-ага, от ярости меняясь в лице, топает ногами, пронзительно кричит на евнуха, призывая на него страшнейшие кары земные и небесные за недосмотр, а девчушка подпрыгивает-вытанцовывает у самого борта, еще пуще изводя старого агу, да еще и припевает:

Нехай шуки їдять руки,
А плотиці – біле лице,
Нехай нелюб не любує,
Біле лице не цілує,
Нехай пісок очі точить,
Нехай нелюб не волочить...

– Настася! Не бери души! – стонут полонянки.

Тогда златовласая девчушка заводит такую тоскливую, что и Синам-ага, даже не понимая языка, опускает голову на тонкой морщинистой шее и тяжело задумывается о своих прегрешениях перед аллахом:

Ой, повій, вітроньку, да з-під ночі,
Да розкуй мої да руки-ніженьки,
Ой, повій, вітроньку, з-під темної ночі,
Да на мої ж да на карії очі...

² Миср – арабское название Египта.

Горы подступают к самому морю, настороженно высятся над водой. Море заглядывает в темные ущелья, в широкие устья рек и ручьев, в чащи и леса на склонах. Потом долго тянется вдоль берега плоская равнина, образованная тысячелетними выносами мутных рек, на которых древние греки искали когда-то золотое руно.

Тяжелый путь кадриги упирается в суровые горы Анатолии, вздымающиеся высоко под небесами за полосой круглых холмов, песчаных кос и пастбищ. На узких полосках земли пасутся кони, растут какие-то злаки, затем горы подступают к самому морю, острые, скалистые, мертвые, а за ними беспредельный снежный хребет, холодный, как безнадежность; холодом смерти веет от тех снегов, ледяные вихри зарождаются в поднебесье, падают на теплое море, черный дым туч клубится меж горами и водой, алчно тянется к солнцу, солнце испуганно убегает от него дальше и дальше, и на море начинает твориться нечто невообразимое.

Точно змей из страшной детской сказки родился где-то над горным горизонтом, сотканный из призрачного желтого света, припал к поверхности моря, потом круто взмыл в небо, полетел выше, еще выше, закрыл шаровидной головой полнеба и стал лакать из моря свет, жадно и торопливо прогоняя его по своему длинному телу в ту шаровидную голову. Бесконечное змеиное тело билось в судорогах от притока света, голова кроваво кипела огнем, а море темнело, темнело, чернота надвигалась на него отовсюду, тяжелая и плотная, только изредка пробивалась несмелым взлеском голубовато-зеленая волна и умирала посреди сплошной черноты, и море становилось как черная кровь.

В тот короткий промежуток времени, наступивший между появлением тревожного мрака и неминуемой бурей, испуг охватил Синам-агу и его прислужников, затрепетали от страха скованные железом пленницы, только галерники выкрикивали после каждого взмаха весел еще более дико и словно бы даже обрадованно, да златовласая пятнадцатилетняя Настася дерзко осмотрелась вокруг и, наверное, впервые за все время плаванья подумала, что, может, и в самом деле броситься бы сейчас с кадриги и утопиться навеки! Потому что, пожалуй, человеку иной раз лучше утонуть, чем мучиться... Если бы она знала, что лучше! Да если бы еще знала, что воды примут ее тело и успокоятся. И успокоятся ли? И выплеснут ли хоть каплю той печали, которая заполняет это море до самых высоких его берегов?

А уже падала на них буря, такая страшная, что море содрогнулось до своих глубочайших глубин, вздыбило свои воды, взревело и загремело.

«И ты увидишь, – бормотал Синам-ага, – что горы, которые ты считал неподвижными, – вот они идут, как идет облако...»

Паруса на кадриге уже давно были сорваны, теперь невольники рубили мачты, и они, падая, раздавили тех, кто, удерживаемый железной цепью, не мог спастись.

Исчезло все, умерло навеки, убитое каменной силой вознесшихся до небес водяных гор, сатанинским ветром, ошалелостью всего мира, лишь какое-то подобие жалобного стенания, перевозмогая рев, свист и громы стихий, тонкой нитью неожиданно провисло над несчастными душами, может, и рождаемое теми душами, стенание, услышанное сначала одной лишь пятнадцатилетней Настасей, потом ее изгоревавшимися подругами, потом галерниками, потурнаками-евнухами и даже самим Синам-агой, потому что все они, в конце концов, были людьми, хотя и не одинаково милосердными и не одинаковых достоинств, и уже когда должны были погибнуть все, когда кадригу не могли спасти ни железнорукие гребцы, ни молитвы Синам-аги, ни неистовство потурнака-ключника, ни слезы полонянок, ни отвaga златовласой девчушки, ни сам аллах, донеслось откуда-то это тонкое стенание, этот жалобный плач-стон, – родившись в душе Настасиной, он стал слышен всем людям и стихиям, подхватил кадригу, повел за собой, повел, и провел сквозь стихию, сквозь смерть и гибель, и вывел туда, где еще светило солнце, зависая над вечерним горизонтом, где море хотя и билось еще отчаянно, но уже не крушило всего на себе, где была жизнь, хотя и горькая для пленниц, но жизнь, ох, жизнь, и уже не стон-

плач был в душе златовласой девчушки, а напев, тонкий и высокий, сияющий, как золотая нить, и светился тот напев, как молодая девичья душа, и хотелось кричать, смеяться и плакать, заламывать руки от неудержимой радости и отчаянья за только что перенесенное: «Жить, хочу жить!»

Синам-ага бормотал из Корана: «И восток, и запад Аллаху принадлежат». Кадрига шла всю ночь вдоль темных берегов, утреннее солнце высветило глубокие морщины в древнем теле гор, за скалистыми островками море как бы проваливалось, каменные горы простлали до самой воды округлые зеленые холмы, судно очутилось между теми холмами. Синам-ага и его прислужники радостно закричали: «Богазичи! Богазичи!»³, а с широкого моря, точно радуясь спасению людей, весело погнался за галерой целый табун добрых удивительных созданий; они охватили кадригу полукругом, выпрыгивали из волн, темноспинные, белобрюхие, могучие и красивые, ловко прошивали глубину, точно живые веретена, приближались к кадриге в радостных всплесках, в веселой игре, и словно бы даже пение доносилось от них, словно бы даже человеческое что-то или от глубинных высших сил живых. Девчушка златовласая бросалась к бортам, то к правому, то к левому, захлопала в ладоши, прокричала что-то тем удивительным добрым созданиям, запела им, суданец-евнух, для которого дельфины не были в диковинку, слегка озадаченно взглянул на Синам-агу, а тот, как-то горестно вздохнув, протянул руку, показывая, чтобы евнух подал ему длинное бронзовое ружье.

Выстрел прогремел с такой силой, что казалось, уже один его звук должен был сбросить белотелую девчушку в море, но девчушка в ярких чужих шелках угрожающе нависала над самым бортом, падая и не падая в босфорскую волну, зато в табуне добрых дельфинов один, пораженный, может, в самое сердце, исчез в глубине, его товарищи ринулись за ним, чтобы спасти, но, бессильные помочь ему, вновь вынырнули и отдалялись от кадриги так же быстро, как незадолго перед этим приближались к ней, а тот, сраженный, убитый и еще не добитый, внезапно всплыл почти у самой кормы, блеснул в прозрачной воде белизной, тяжело перевалился темной спиной через буруны; умирающее животное так и льнуло к деревянному телу кадриги, и гребцы занесли весла, держали их на весу, не опуская в воду, чтобы не задеть дельфина, за которым, точно красное руно, тянулась багровая полоса крови. Дельфин не поспевал за волнообразным движением воды, высывал спину, поднимал в муке голову, и тогда становилось видно, что есть в нем что-то от человека. Умирал как человек. Беспомощно, мучительно, тяжело. Еще раз блеснул брюхом, перевернулся, навеки исчез в темной глубине и точно звал с собой и к себе всех, кому на поверхности, под солнцем и небом, было тяжело, невыносимо и безнадежно, звал и тех галерников с обритыми головами и почерневшими, как кора на старых деревьях, телами, и женщин-полонянок, и ту пятнадцатилетнюю золотоволосую девчушку, которую Синам-ага в чаянии высокой прибыли готовил к жизни сладкой и роскошной, – но для кого же, для кого? «Не хочу! Не хочу!» – кричало все в ней, а она подавляла тот крик, загоняла его в глубь души, полными слез глазами смотрела уже и не на глубины моря, в которых навеки исчезло доброе морское существо, а на высокие зеленые берега, на птиц, вольно реявших над кадригой, на белые камни суровой крепости, опоясывающей узкий пролив, на толстые железные цепи, которыми запирались турецкие воды, отгораживаясь от свободного морского мира. Гребцы неохотно и не спеша опускали длиннющие, тяжелые, как камни, весла в воду, но кадрига плыла уже и без весел, свободно и охотно, все убыстряя бег, словно бы радовалась своему вновь обретенному умению чувствовать родной берег, возвращаться в родной город, в свой дом. А она? Начто она тут, так далеко от родного дома, начто, начто, Настася, Настася? Спрашивала сама себя, называя себя так, как называли ее мама, татусь, а слышалось другое: начто, начто? Спрашивало чужое небо, спрашивали чужие деревья, спрашивали чужие птицы,

³ Богазичи – Босфор.

спрашивали чужие воды, – все вокруг наполнилось коротким и безнадежным: «Начто? Начто, Настася, Настася?»

В последний раз слышала свое имя здесь, над морем, ибо должно было оно утонуть в море навсегда, навеки.

...И названо было море Черным.

Ибрагим

Зеркала были как вода. С блеском глубинным и загадочным. Ибрагим любил зеркала и свое отражение в них. Как в детстве. Тогда он смотрелся в воду. Вода окружала остров Паргу. Маленький Георгис каждый день бегал на берег – встречал отца-рыбака с моря. Глядел на воду, видел свое отражение. Небольшого роста, ладный, востроглазый. Слишком бледнолицый для искони смуглых островитян. Перенял от них бойкость и подвижность.

А бледность, возможно, зародилась как раз оттого, что он пристально всматривался в воду. Но это его не очень занимало. Посвистывал себе и напевал, прыгая то на одной, то на другой ноге. Охотно свистел на свистульках, играл на самодельных дудочках. У соседских дочек была старенькая цитра – вскоре Георгис брэнчал и на цитре. Отец пропал в море или заливался вином по самые глаза. Сын? Кроме старшего растут еще два. Вырастут помощники. Способности? Это слово было ему неведомо. Мать приобрела у торговца, скупавшего губки по всему побережью, небольшую виолу. Приплывая на Паргу, торговец показывал маленькому Георгису, как играть ту или иную мелодию. Не для усвоения, а чтобы посмеяться над рыбацким сыном. Когда же он приплывал через месяц, мальчик уже играл услышанное лишь однажды. Как будто на острове у него был учитель. Ибрагим ходил на берег, дожидался отца, играл и играл. Для морских волн, для безмолвных камней, для высокого неба. Часто засыпал с виолой в руках, спал под палящим солнцем, на горячих камнях, но лицо его оставалось белым. Жизнь легка и заманчива! Даже когда приходилось помогать отцу, думал так же, поскольку помогал лишь относить губки тому странствующему торговцу. Не было тогда видно ни отца, ни сына. Двигутся две округлые кучи губок, а под ними мелькают две пары ног. Коричневые, жилистые, потрескавшиеся, все в ссадинах и шрамах – отца. И стройные, тонкие, как у козлика, – сына. Грек большой и грек маленький. Большой так и остался греком. Где-то ловит рыбу, достает губки с морского дна, высушивает, продает заезжим торговцам я пропивает все заработанное. Пьет неразбавленное кислое вино, как дикий фракиец. А маленький вырос и уже давно не грек, а Ибрагим-эфенди. Он красив, умен, богат и почти так же всемогущ, как и султан Сулейман. Говорить об этом излишне. В Стамбуле болтают лишь глупцы. Настоящие люди умеют молчать. Делают свое без шума. Человека вообще не слышат и не знают. Особенно же в таком городе, где говорит только история. Единственный способ, чтобы тебя заметили, – бить в глаза: уметь жить, наряжаться, показывать, кто ты есть. Ибрагим не был ни пашой, ни санджакбегом, ни бейлербегом⁴, ни визирем, но могущество его не имело границ. «Душа султана, его сердце и дух» – так прозвали Ибрагима. С Сулейманом прожил десять лет в Манисе, где султан Селим держал своего единственного сына, наследника трона, лишь изредка позволяя ему побыть своим наместником в Стамбуле, когда сам отправлялся в далекие и трудные походы, как это было шесть лет назад, во время покорения Египта. Султан Селим не любил сына, не любил он и свою жену Хафсу, дочь крымского хана, держал обоих в отдалении, равнодушен был к обычным утехам, в гарем заглядывал изредка, да и то лишь затем, чтобы войско не сомневалось в его мужских достоинствах, любил только войну, охоту, верных своих янычар. Про Ибрагима Селим знал, как знал обо всем в своей беспредельной империи. Возненавидел вертлявого грека. Возненавидел и сына за то, что тот сделал своим любимцем не воина, а какого-то вертопраха. Особенно не любил пышность в одежде, к которой Ибрагим приохотил шах-заде Сулеймана. И поэтому показалось странным, когда султан прислал Сулейману из Эдирне, куда отправился на большую охоту в начале рамадана⁵, дорогую сорочку из тонкого

⁴ **Бейлербег** – титул пашей и наместников (турецк.).

⁵ **Рамадан** (рамазан) – 9-й месяц мусульманского лунного года хиджры. Согласно догадкам, в этом месяце был «ниспослан» на землю Коран. В рамадан мусульмане должны были соблюдать пост (уразу).

шелка. Валиде Хафса не дала сыну надеть ее. Позвала одного из балтаджиев, который когда-то повел себя с нею неучтиво, сказала, что прощает его и в знак прощения дарит ему дорожную сорочку. Такая сорочка приличествовала бы и самому султану. Балтаджи надел ее и в тот же день скончался в страшных мучениях. Селим прислал своему сыну отравленную сорочку! Зачем? Думал жить вечно, устранив единственного наследника? Или не заботился о достойном продолжении рода Османов, могучей лозы Османова древа? Шах-заде не спал тогда всю ночь, все допытывался у Ибрагима. Ибрагим перебирал случаи из истории. Там можно было найти еще и не такое. Но кто же может успокоить себя прошлым?

В конце рамадана умер султан Селим. Умер от болезни почек на пути из Стамбула в Эдирне, в тех самых местах, откуда восемь лет назад выступил против родного отца, султана Баязида Справедливого. Может, носил эту неизлечимую болезнь в себе уже давно и, не имея ни времени, ни надежд на получение престола, расчистил себе путь к власти убийствами своих братьев, их детей, укорочением века самому султану Баязиду. Носил в себе дикую боль, тщетно пытался унять ее опиумом, может, собственной болью мог бы оправдать и свою нечеловеческую жестокость? Жестокость к врагам уже не удивляла никого – все Османы были жестоки. Но к родному и единственному сыну?

Известие о смерти принес в Манису Ферхад-паша, бывший раб родом из Шибеника, грабитель и убийца, любимец Селима и... Сулеймана. Одного очаровал своей звероловностью, другого быстрым умом, песнями, беседами. За него выдали Сулейманову сестру Сельджук-султаннию, принцессу, гордую своей красотой, но и она, так же, как и валиде, была в восхищении от бывшего раба.

Для Османов происхождение никогда много не значило. Только заслуги, верность, преданность и личные достоинства. Кто умел крикнуть громче всех во время штурма вражеской крепости, ударить сильнее всех саблей, растоптать наибольшее количество врагов, растолкать локтями всех вокруг, лезть напролом без стыда и совести, лишь бы только во славу аллаха и на пользу и услужение султану. Каждый нищий мог стать великим визирем, вчерашний раб – царским зятем. Ведь сказано: «Разве же у них лестница до неба?»

Паша, загоняя коней до смерти, мчал из Эдирне, чтобы принести в Манису весть о смерти султана, прежде чем об этом узнают в Стамбуле. Он торопил Сулеймана: «Быстрее, быстрее!» В столицу, в султанский дворец, пока не провели янычары, пока стамбульская чернь не выплеснулась на улицы... Сулейман не верил. Султан мог подговорить Ферхад-пашу. Заманить Сулеймана в западню и расправиться.

Ферхад-паша падал на колени, целовал Сулеймановы следы. «Сияние очей моих! Разве бы осмелился раб твой...» Сулейман кривил тонкие губы в усмешке. Слишком много черных теней затемняло сияние самого Ферхад-паши. В царской семье хотел властвовать безраздельно, соперников не терпел. Если перед шах-заде заискивал, то Ибрагима ненавидел открыто. Называл его ржавчиной на сверкающем мече Османов.

Тогда прибыл новый гонец. Теперь уже от великого визиря Пири Мехмед-паши из Стамбула. Мудрый Пири Мехмед прислал Сулейману шелковый свиток: «Моему достославному повелителю. Дня двадцать седьмого рамадана почил в аллахе всесветлый султан Селим. Смерть его скрыта от войска. Остаюсь для повелений моего достославного властителя».

Сулейман поцеловал свиток. Взял с собой Ибрагима и Ферхад-пашу Ибрагима для себя, пашу для янычар. Коней меняли через каждые три часа. Ферхад-паша издевался над Ибрагимом: «Рассыплешься!» – «До твоих похорон доживу!» – «Подумай, кому это говоришь?» – «Я уже подумал». Сулейман не разнимал двух фаворитов. Один – его собственный, другой – всей султанской семьи. Может, ждал, кто кого? Но Ибрагим ждать не мог.

На вершине пятого из семи стамбульских холмов Сулейман поклонился покойному султану, и первым, что он повелел, было: воздвигнуть на том месте джамию⁶, тюрбе⁷ и медресе в память великого покойника. Только после этого вступил во дворец Топкапы.

Янычары взвыли, услышав о смерти Селима. Султана звали Явуз Грозный, с ним и они были грозны как никогда прежде. В знак скорби посрывали с голов свои островерхие шапки, свернули походные шатры, бросили их на землю, отказались служить новому султану. Ибо тот признавал только свои книги, выискивая в них мудрость. А мудрость – на конце ятагана. Пусть себе утешается книгами!

Сулейман терпеливо переживал смуту в придворном войске. Надеялся на Ферхад-пашу? Или на старого Пири Мехмеда? Потом велел открыть сокровищницу и стал щедро раздавать золото и серебро. Янычары притихли. Отпустил домой шесть сотен египтян, взятых в рабство Селимом. Персидским купцам, у которых Селим перед походом против шаха Исмаила забрал имущество и товары, возвратил все и выплатил миллион аспр⁸ возмещения. В науку другим и для остротки повесил командующего флотом капудан-пашу Джафер-бега, прозванного Кровопийцей. Никто не знал, что это первая месть Ибрагима. Да и сам капудан-паша не успел догадаться об истинной причине своей смерти. Забыл, как пятнадцать лет назад был привезен на его баштарду худошавый греческий джавуренок со скрипочкой и как, насмехаясь, почесывая лохматую жирную грудь, прячась в тени шелкового шатра на демене, поставил он под солнцем на шаткой палубе мальчонку и велел играть. И тот играл. Может, думал, что и схватили его на берегу только затем, чтобы потешил игрой капудан-пашу? И, пожалуй, надеялся, что его отпустят к папе и маме? «Хорошо играешь, малыш, – сказал Джафер-бег, – и как жаль тебя продавать! Но что я бедный раб всемогущественного и милосердного аллаха, могу поделаться?» И он даже заплакал от растроганности и безысходности. Сказано же: кого волк схватит, того уже в лес не пустит.

Джафер-бег продал маленького Георгиса за пятьдесят дукатов богатой вдове Феррох-хатун из Маниссы. Хорошая женщина не только уплатила бешеные деньги за ничтожного греческого мальчугана, она не жалела денег на самых дорогих учителей; и за пять лет Ибрагим (ибо теперь его так звали) словно заново родился на свет. Не узнал бы его уже никто с маленького острова Парги.

Повезло даже в несчастье. Ему повезло и еще раз: шахзаде Сулейман услышал однажды на улице, как Ибрагим играл на виоле. Небесная игра! Феррох-хатун плакала горькими слезами, расставаясь со своим воспитанником. Воля шах-заде для нее была превыше любви к Ибрагиму. Шестнадцатилетний шах-заде купил себе семнадцатилетнего раба редкостных способностей, знаний и достоинств. Не мог жить без Ибрагима. Назвал его сияхтаром оруженосцем. Ибрагим платил Сулейману преданностью, любовью и благоговением. Не довольствовался словами, взглядами, готовностью служить во всем. Доходил уже и до невероятного. Обрезал Сулейману ногти над серебряной тарелочкой и хранил их в розовой воде, как драгоценнейшую реликвию. Сулейман сочинял стихи про Ибрагима. Называл его макбул – милый, мергуб – желанный, махбуб – любимый. Часто спал с ним в одной комнате, забывая о красавицах из своего маленького гарема. Заставил Ибрагима завести собственный гарем. Пока из одних рабынь. Женщины тоже любили Ибрагима. Он был любовником пылким и утонченным, как все греки. Греком оставался, несмотря ни на что. С Сулейманом они читали Аристотеля по-гречески. Спорили о Платоне и Сократе, тоже по-гречески. Когда в Стамбуле Ибрагим познакомился с богатым венецианским купцом Луиджи Грити, то первый их разговор велся опять-таки по-гречески. Внебрачный сын венецианского сенатора Андреа Грити, на десять лет старше Ибра-

⁶ **Джамия** – большая (соборная) мечеть.

⁷ **Тюрбе** – гробница (араб.).

⁸ **Аспра** – денежная единица.

гима, человек невероятного богатства, Луиджи повел себя с Ибрагимом как с братом. За кипрским вином неторопливо велись беседы о поэзии, об Александре Македонском и Ганнибале, об исламском мудрословии. Грити учился в университетах Вены и Падуи, Ибрагим – только у безымянных улемов⁹. Один родился в роскоши, другой происходил из вековечных голодранцев. Но кто бы заметил различие между ними? К тому же, будучи и старше, и богаче, и могущественнее, и образованнее, хозяин дома уступал младшему, незнатному, рабу, наконец, даже в языке! Не удивлялся только Ибрагим. Ибо знал то, что знал и Грити. О смертельном недуге султана Селима. И о том, что Сулейман единственный наследник престола. А также о том, что он, Ибрагим, душа и сердце Сулеймана.

Все-таки жизнь легка и прекрасна. На третий день после провозглашения Сулеймана султаном Ибрагим получил пост смотрителя султанских покоев и звание великого сокольничего. Ему был предназначен двор на Ат-Мейдане, возле античной цистерны Бинбир-дирек. От Ат-Мейдана через ипподром до Айя-Софии и серая Топкапы совсем близко. Султан хотел, чтобы его любимчик был всегда рядом. На Ат-Мейдане происходили смотры султанского войска. Там муштровались янычарские орты¹⁰. Через него пролегал путь торжественных султанских выездов – селямликков. Ат-Мейдан был как бы зеркалом султанского Стамбула. А Ибрагим любил зеркала. Венецианца не удивишь таким подарком, но Ибрагим, поселившись на Ат-Мейдане, часто посылал Луиджи Грити на Перу зеркала, то бронзовые, то серебряные, а то и золотые. У османцев нет предметов без значения. Ведя происхождение от темных сельджуков, они не возлагали больших надежд на письменность, обходились по обычаю своих неграмотных предков языком вещей. Даже совершенно неграмотный османец мог составить любое послание. Зеркало значило: «Я готов всем пожертвовать для вас». Грити охотно включился в предложенную Ибрагимом игру. Присылал ему виноград, свитки синего и голубого шелка, сладости, ветку алоэ. Это означало: «Сердце мое, я люблю вас! Страдания, кои претерпеваю я от своей любви, едва не сводят меня с ума. Душа моя стремится к вам со всей силой страсти. Пролейте благотворный бальзам на мои раны!» Ибрагим отсылал золотую монету. Это значило: «Я буду любить вас еще сильнее».

Истекал второй месяц со дня провозглашения Сулеймана султаном. Убедившись в щедрости и суровости нового султана, Стамбул утихомирился. И хотя огромная империя взрывалась бунтами то тут, то там, в столице жизнь налаживалась. Первым признаком этого было то, что купцы повезли на Бедестан драгоценные товары и самых дорогих рабов. Луиджи Грити через посланца пригласил Ибрагима посетить вместе с ним Бедестан, где должны быть редкостные молодые рабыни. Даже черкешенки, которые ценятся дороже всех. Луиджи Грити намекал Ибрагиму, что уже забыл о его рабстве. Собственно, в этой земле все рабы. Народ – раб султанов, султан – раб аллаха. Чтобы сделать приятное Луиджи, Ибрагим решил одеться венецианским купцом. Цветные кружева, черный бархат, золотая цепь на шее, перстни с крупными самоцветами, широкополая шляпа с драгоценным плюмажем. Одевали его два греческих мальчика. Красивые и изящные, как и сам Ибрагим. Он окружал себя только красивым. Хотел видеть себя в зеркалах чужих жизней. Не переносил евнухов. Ненавидел надругательства над человеческой природой. Человека лучше убить, чем искалечить. Смерть следует рассматривать, как один из способов облегчить человеческую жизнь. И не тому, кто убивает, а кого убивают. Пока живой, можно было утешаться такими рассуждениями. А он был жив и не имел намерения умирать. Может, и никогда. Смотрел на себя в венецианское зеркало, подаренное Луиджи Грити. Нравился себе, как всегда. Тонкий, нервный, изысканный. На бледном лице выразительно очерченные губы, из-под тонких черных усов поблескивают ровные острые зубы, так плотно поставленные, что кажется – их вдвое больше, чем нужно. Иные развивают тело, он

⁹ Улем – мусульманский ученый.

¹⁰ Орты – янычарские воинские подразделения.

развивает дух. Тело приспособлялось к духу, шлифовалось им, зависело от него, а дух был свободный, раскованный, миллионноликый. Потому и любил себя Ибрагим удвоенного, утроенного в зеркалах. В них отражался уже и не он, не его внешность, а его неповторимый дух.

Луиджи Грити застал Ибрагима у зеркал. Как бы в угоду Ибрагиму, купец оделся османцем. Богатый халат из золотистой парчи, расшитые золотом зеленые шаровары, белоснежный шелковый тюрбан, под широченными смоляными бровями поблескивают выпуклые глаза. Искривленный, как у султана Мехмеда-Фатиха нос, густые пышные усы, чернящая борода. Вылитый паша! Они долго смеялись, рассматривая друг друга. Обнялись и расцеловались в надушенные усы. Даже духи каждый подобрал соответственно костюму: у Луиджи восточные, у Ибрагима итальянские, чуточку женственные, чуть ли не от самой Екатерины Сфорца, к советам которой прислушивались все самые вельможные лица Европы.

– В носилках или на конях? – спросил Ибрагим.

– Только верхом! – захохотал Грити, показывая на кривую саблю в драгоценных ножнах, на парчовой перевязи.

Их сопровождало с десятков бостанджиев, готовых на все. Свиту не удивил Ибрагимов вид. Видывали и не такое. Головами отвечали за его целость и неприкосновенность перед самим султаном – вот и все, остальное их не касалось. Грити об охране, казалось, не заботился вовсе. Его охраняли деньги. Мог купить пол-Стамбула. Еще неизвестно, где больше сокровищ, в замке Семи башен или у него.

– Мы забыли взять евнухов, – спохватился Грити.

Ибрагим нервно передернул плечами.

– Зачем? Я не считаю, что такое зрелище украшает настоящего мужчину.

– Не украшает, но служит первым признаком мужчины. Иначе каждому правоверному пришлось бы возить за собой целый гарем. Слишком хлопотно, не так ли?

– Небольшой гарем лучше самых пышных евнухов. Я бы согласился возить даже гарем, только не этих обрубков человечества. Но мой гарем из одних рабынь. Это напоминало бы мне всякий раз о моем собственном положении.

– Не считаете ли вы, мой дорогой, что пора уже вам изменить свое положение хотя бы в гареме? – прищурился глаз Луиджи.

– Я еще слишком мало живу в Стамбуле. Все, кого знал, остались в Маниси.

– Зато вас знает весь Стамбул.

Ибрагим засмеялся.

– Согласитесь, дорогой Луиджи, что я не могу взять себе в кадуны¹¹ сразу всех красавиц Стамбула! Рабынь – сколько угодно, законных жен только четыре! Так повелел пророк.

– Не надо всех. Начинать нужно всегда с одной. У моего друга Скендер-челебии юная дочь.

– Скендер-челебия? Главный дефтердар?¹² Он мог бы породниться с рабом?

– Не вспоминайте лишний раз того, что для вас уже, собственно, и не существует. Что же касается Скендер-челебии, то он хотел бы угодить новому султану так же, как умел угождать его покойному отцу. Одного слова султана Сулеймана достаточно, чтобы Кисайя стала вашей кадуной. А она истинный цветок из садов аллаха.

– Как можно судить о красоте, не увидев ее собственными глазами?

– А разве вас не убеждает имущественное положение Скендер-челебии?

– До сих пор я старался наполнять не карманы, а голову и сердце.

– То, что не существует, не может быть наполненным.

– Что вы имеете в виду?

¹¹ Кадуна – жена.

¹² Дефтердар – собиратель податей.

– Человек даже самый мудрый может умереть от голода, когда у него ветер в карманах! – прокричал Грити так громко, будто бросал эти слова голодранцам, что вертелись в узких улочках, чуть не подлезая под ноги коням. – Я лично отдаю предпочтение наполнению всего без исключения. Может, дефтердару как раз и не хватает вашей головы.

– До сих пор он обходился собственной головой, и не без успеха.

– Есть предел, перед которым бессильны даже такие умы, как Скендер-челебия. Торговля напоминает стамбульский Бедестан – тебе кажется, будто ты схватил ее всю, а между тем ты как рыбак, чем больше ловит он рыбы в море, тем больше видит непойманной. Одни впадают в отчаянье от такого открытия, другие ищут способы поймать еще больше. Может, Скендер-челебии не хватает именно вашего ума и вашего влияния, так же как вам не хватает свободной жены для гарема.

– Я ничего не говорил о гареме. Не интересовался этим никогда. Если хотите, то о моем гареме, хоть говорить об этом смешно и не полагалось бы, заботился Сулейман.

– Пусть позаботится еще. Тому, кто проводит с султаном иногда и ночи голова к голове, в бессонных беседах, нетрудно выпросить такой пустяк. Одно слово султана – и Скендер-челебия сам приведет свою прекрасную Кисайю на Ат-Мейдан...

Ибрагим молча улыбался под тонкими своими усами. Эти два волка, Луиджи Грити и Скендер-челебия, видимо, уже не в состоянии проглотить добычу, которую хватают по всей империи, им нужен еще и третий. Выбрали его. От него не потребуется никаких усилий. Все они сделают сами. А Сулейманово слово он выпросит легко. Только намекнет – и султан сам станет умолять его, чтобы он взял в жены дочь дефтердара.

– Я пришлю вам редкостное зеркало персидской работы, – сказал Ибрагим.

– А у меня для вас есть еще более редкостная золотая монета, чеканки знаменитейшего итальянского мастера, – ответил тем же Луиджи. Точно купцы, которые на предложение – иджабу – и согласие – кабуля – заключают договор – акд, они соглашались действовать сообща в деле весьма важном, хоть и зародилось оно, как могло показаться, из случайного и несущественного разговора.

Подъезжали к Бедестану – главному стамбульскому базару, такому же старому, как и этот город, уничтожаемому и возрождаемому, как и этот город и, как Царьград, неистребимому, вечному, бессмертному. За узенькими улочками, за кучами мусора, потоками нечистот, харчевнями, где дым, смрад, зловоние, брань, насыщение и опорожнение; за шумом и теснотой, солнцем и ветром – целый город, скрытый от мира, под высокими каменными сводами, с сотнями улочек и переходов, со своими площадями, фонтанами, ручьями, даже с собственной мечетью. Тут никогда не подует ветер и не шевельнется воздух, разве что от людских голосов, бряцанья сбруи, рева ослов и рыка диких зверей, которых продают так же, как и живых людей да мертвые товары.

Гул стоит, будто ты внутри исполинской морской раковины, звукам некуда вырваться, они живут здесь вечно, вне времени, для них, как и для всего Бедестана, нет ни дня, ни ночи, ни солнца, ни луны, ни росы, ни зноя, ни зимы, ни лета, только блеск, чары, сон, грезы, запахи мускуса от кож козлиных, бараньих, воловых, сладковатый дух ковров, пьянящие ароматы цинамона, ладана, перца, гвоздики, имбиря, смолы, муската, сандалового дерева, серы, амбры.

Главный проход, по которому можно ехать верхом и даже конными упряжками, куда заходят целые верблюжьи караваны, – с высоким синим звездным сводом. В полутьме боковые лавчонки, набитые товарами, лежащими там, может, и тысячу лет. Снопы света падают сверху сквозь узкие оконца. Тут возвышаются горы лиловых и черных фиг, висят бараньи туши, разрубленные на четыре части, головки брынзы, посыпанной черными зернышками, твердая, точно кость, продымленная бастурма¹³, тут же арабский клей в «слезах», мастика, желатин,

¹³ Бастурма – шашлык из говядины.

басма, хна, ароматические мази для бровей, гашиш, опиум, краски для шерсти, восточные драгоценности; неподвижно сидят толстые купцы в высоких чалмах перед лавками с серебряными, медными и золотыми изделиями, ремесленники кроют и шьют одежду, изготавливают мешки, плетут корзины, едят кебаб и сладости, варят плов и шурпу, режут баранов, жарят мясо (Бедестан съедает за день одних только верблюдов до полутысячи, а баранов без счета), жуют, чавкают, отрыгивают, опорожняются, молятся, кричат и плачут, проклинают и клянутся, старые армяне поют тысячелетние дивные песни, торговцы оружием, поджав ноги, сидят на звериных шкурах, пьют шербеты, поглаживают бороды, бормочут стихи из Корана, а вокруг них кучи ятаганов, ружей, пистолей, дамасские сабли, курдские кинжалы, трости и палицы из железного кавказского дерева, барабаны; еще дальше – золотые цепочки, мониста, жемчуга, перстни, рубины, изумруды, бриллианты, вороха бирюзы, конская сбруя, четки, курильницы, светильники, сандалии из разукрашенного дерева – женщины надевают их, отправляясь в хамам¹⁴, коробки из черепах, из черного дерева, инкрустированные перламутром, старые зеркала, подставки для Корана, солома, сено, дрова, ячмень, ткани – все смешано, перемешано, свалено и навалено без толку, без нужды, без видимого смысла, будто издевка над окружающим миром, где испокон века три силы пытаются придать всему существующему хоть какой-то порядок: природа, человек, боги, чтобы впоследствии, очутившись перед хаосом Бедестана, убедиться в бесплодности всех своих попыток. Над стихией Бедестана не властна никакая сила, кроме разве что стихии еще большей. И такой стихией в Царьграде всегда был пожар. Бедестан горел при императорах, горел при султанах, начиная от первого из них – Мехмеда Фатиха. Владычество каждого султана ознаменовывалось не только завоеванными землями, янычарскими бунтами, сооружением новых мечетей, тюрбе и медресе на площадях и возвышенностях Стамбула, но и диким возгласом, от которого содрогалась вся столица, который мог прозвучать днем и ночью, и в самый большой праздник, и во время страшной эпидемии, в летний зной и в ненастный зимний день: «Янгуйн вар Бедестан!» – «Пожар на Бедестане!»

И тогда в этом замкнутом, загадочном мире начинался ад. К огню невозможно было подступиться, он господствовал безраздельно под вечными сводами базара, все, что там было живого, гибло бесследно и безымянно. Горело все, что могло сгореть, плавилась металлы, трескались камни, высыхали фонтаны, черное пламя било из Бедестана, как из пекла, выжигая все дотла и в близлежащих улочках, потому эти улочки всегда оставались самыми убогими, самыми грязными и самыми заброшенными при всех султанах.

Сулейман еще не пережил своего пожара на Бедестане. Слишком мало он пока владычествовал. Ибрагим и Грити без страха погрузились в глубины Бедестана, проникли в отдаленнейшие его дебри, миновав горы товаров, людскую толчею, рев животных, сияние драгоценных камней, груды отбросов, добрались до майдана, на котором стоял золотой дым от мощных ударов солнца сквозь наклонные окна в высоких серо-черных сводах. Широкие лучи ударялись о каменные плиты площади, курились золотым дымом, отчего казалось, будто все тут плывет, движется, взлетает в пространстве, повисает над древними плитами, над большим беломраморным фонтаном посреди площади, над деревянными помостами, то голыми, вытоптантыми, то устланными старыми яркими коврами, в зависимости от того, кому принадлежали помосты и какой ценности товар предлагался на них и возле них.

Товаром на самой освещенной в Бедестане площади были люди.

Рабы. Приведенные из военных походов, захваченные корсарами, пойманные, как дикие звери, похищенные, купленные, проданные и перепроданные. Юноши редкостных дарований и кастрированные мальчики, девушки и женщины для черной работы, красавицы на утеху сыновьям ислама, гаремная плоть, дивные творения природы, с телами прекрасными и чистыми, коих не отважился еще коснуться даже солнечный луч.

¹⁴ Хамам – баня.

Рабов выводили поодиночке, а то и целыми вереницами из боковых темных переходов, товар подороже показывали на помостах, подешевле продавался целыми толпами внизу, продавцы – байи – выкрикивали цену, нахваливали своих рабов, их силу, молодость, неиспорченность, красоту, ученость, умелость. Поблизости в Бедестане на таких же торговых площадях, с такими же шумом и гамом, толчеей и кутерьмой продавали коней, птицу, ослов, овец, коз, собак, не продавали только кошек, поскольку кошка была любимым животным пророка. Кошки, выгибая спины, терлись о ноги купцов, мурлыкали и блаженствовали, не ведая, что эти люди продавали и покупали людей, как тварей бессловесных, всякий раз ссылаясь на аллаха и его пророка, повелевшего всем правоверным: «Ешьте же то, что вы взяли в добычу дозволенным, благим...»

Коран запрещал женщине обнажаться перед мужчинами. А здесь женщины были нагие. Ибо они были рабынями на продажу. Одни стояли с видом покорных животных, другие, те, что не смирились с судьбой, – с печатью ярости на лицах; одни плакали, другие сухими глазами остро кололи своих мучителей, была бы сила, убивали бы взглядами.

– В Манисе у вас не было бы такого выбора, – сказал Грити Ибрагиму, когда они приблизились к площади рабов.

– Я не могу без содрогания смотреть на эту торговлю, – нервно подергиваясь лицом, промолвил Ибрагим. – Всегда буду помнить, как продавал меня Джафер-бег, как держали меня голого на таком вот помосте... Теперь я принял ислам и как-то могу оправдать людей моей веры. Им суждено воевать со всем светом, и поэтому невольно пришлось стать жестокими даже в вере и обычаях. Но вы, христиане, разве ваш бог позволяет рабство?

– У бога точно определены только запреты, – хмыкнул Луиджи, дозволенное же всегда неопределенно. Человеку приходится самому определять как самую сущность дозволенного, так и его меру.

Передав поводья слугам, они соскочили с коней и смешались с толпой богатых муштери – покупателей живого товара, шли не торопясь, наблюдая за тем, что творилось на площади, пожалуй единственные здесь, кто мог поглядеть на происходящее глазом непредвзятым, незаинтересованным, почти равнодушным. Словно они приехали сюда для развлечения, не имея намерения покупать, а лишь присмотреться поближе к позорному торгу и порассуждать с высот своей независимости.

– Не забывайте, – напомнил Ибрагиму Грити, – что я наполовину тоже мусульманин и, когда мне надо, охотно повторяю слова Магомета: «...бейте их по шеям, бейте их по всем пальцам!»

– Но ведь вы учились в лучших университетах Европы, воспитывались на книгах величайших мудрецов Греции и Рима, в которых говорится о человеческой свободе и достоинстве.

– Не забывайте, что я купец, – засмеялся Грити. – Когда мы с вами, попивая кандийское вино, обсуждаем диалог Платона «Республика» или «Банкет», я не выступаю перед вами как носитель высоких человеческих помыслов, когда же я оказываюсь на Бедестане, я вынужден вспоминать и то, что даже у любимого вами Аристотеля в его «Вратах», в авабе восемнадцатом, приводятся советы, как нужно покупать рабов и рабынь. Философ советует непременно осматривать рабов против солнца или в местах хорошо освещенных, и осматривать не только их видимые члены, но и все тело, и все потайные части тела.

– Я знаю об этом.

– Так если даже Аристотель не стыдился этого, почему же мы с вами должны стыдиться? Не лучше ли довериться во всем аллаху? Сказано же: «...Аллах мощен над всякой вещью!»

– Вы знаете Коран, как истинный хафиз¹⁵, – похвалил его Ибрагим.

¹⁵ Хафиз – человек, знающий наизусть Коран, а также народный певец и сказитель у мусульман.

– Мне по нраву восьмая сура, которая называется «Добыча». Согласитесь, что такое слово для купеческого сердца самое милое. Купец не повелитель, посылающий своих воинов на завоевание земель, людей и богатств, но он может посылать деньги, часто превосходящие своею силой оружие и самое жестокое насилие. К примеру, тут должен быть мой уртак¹⁶ Синам-ага, коему я заказал привезти мне партию полонянок из славянских земель. Я даже поставил условие: товар должен быть отборным и, как говорится, небудничным, особым.

– Вы что, заплатили этому Синам-аге? – даже остановился от удивления Ибрагим.

– Я дал ему задаток. Иначе говоря, послал свои деньги за море за добычей.

– Это противоречит праву шариата. Ислам разрешает воевать с неверными, захватывать добычу, иметь рабов, но купцы наши строго ограничены законами шариата. Если хотите, мусульманские купцы благодаря шариату самые порядочные во всем мире. Чтобы вещь могла быть проданной, она должна быть дозволенной, ею надо завладеть. Только тогда она становится «мутеваким», то есть разрешается для продажи на рынке.

– Но ведь богатые люди могут заказывать рыбу рыбакам или дичь охотникам, – напомнил Грити.

– Такой обычай существует, но он противоречит правилам. Ни рыбак, ни охотник не могут дать заверения, что они поймают именно то, что вам хочется, ибо это от них не зависит.

– Ловить рыбу или дичь занятие действительно неопределенное, поддерживая Ибрагима под руку, нагнулся к нему Грити, – но ведь с людьми дело намного проще. Я плачу Синам-аге, Синам-ага находит своего знакомого крымского бея, платит ему и просит привезти из королевской или из московской земли таких-то и таких-то рабов или рабынь. Вот и все. Тут мог бы удовлетвориться даже ваш строгий шариат. Селям! – крикнул он внезапно старому турку, сидевшему на ковре, бессильно склонив голову под тяжелым тюрбаном, – случайный наблюдатель этого несправедливого торга, как и Грити с Ибрагимом. Но так могло показаться лишь глазу неискушенному. Ибо старик, будто бы подремывая, на самом деле пристально приглядывался ко всему, что происходило вокруг, его ухо ловило каждое слово, его прикрытые тяжелыми увядшими веками глаза выхватывали из водоворота человеческого все нужное их хозяину. Грити он заметил давно и только сделал вид, будто приветствие купца вырвало его из дремоты. Луиджи, пожалуй, и не заметил хитрости старика, от Ибрагима же ничего не укрылось, глаз у него был наметан, особенно на людское коварство.

– Синам-ага? – спросил он негромко у Луиджи.

– Да будет твоим убежищем рай, – не давая Грити времени на ответ, мигом проговорил старик.

– Тебя давно не было на Бедестане, почтенный Синам-ага, полувопросительно-полуосуждающе заметил Грити.

– Разве бы осмелился я, никчемный раб, занести ногу на ковер торговли в час скорби по случаю смерти великого султана Селима, да наслаждается душа его в садах аллаха, и пока пройдет положенное время после начала царствования великого султана Сулеймана, которому да воздастся нижайшее поклонение... – заскулил Синам-ага.

– Есть товар для меня? – прерывая его болтовню, почти сурово спросил Грити.

Синам-ага хлопнул в ладоши, и черный евнух, вертевшийся поблизости, пулей бросился куда-то в сторону, чтобы через минуту выступить вместе с несколькими такими же безбородыми во главе вереницы скованных за шеи красивых чернооких девушек, одетых, несмотря на осеннюю стужу, довольно скупно.

– Да ты смеешься? – воскликнул рассерженно Грити. – Смеешь предлагать мне то, чего касалось железо?

¹⁶ Уртак – купец.

– Мы поместили на шею у них оковы до подбородка, и они вынуждены поднять головы. Я, недостойный, хотел показать что-то для твоего друга эфенди, – пробормотал испуганно Синам-ага.

– Если бы ты знал, кто мой друг, под тобой задрожала бы земля, довольно произнес Грити. – Есть что путное – показывай, а не вызванивай железом. Разве так звенит мое золото?

Синам-ага, кряхтя, поднялся с ковра, подобрал полы своего халата, кланяясь теперь уже не так Грити, как Ибрагиму, повел их в боковые переходы, в темноту и плесень.

– Старый мошенник! – бормотал брезгливо Грити, спотыкаясь в темноте, попадая в зловонные лужи своими тонкими сафьяновыми сапожками, с возмущением вдыхая запах плесени на стенах.

Из тьмы навстречу им выступили две какие-то фигуры, еще чернее самой тьмы, узнали Синам-агу, исчезли, а впереди заморгало несколько огоньков.

– Валлахи, я выполнял твое повеление с покорной головой, бей эфенди¹⁷, – кряхтел Синам-ага.

– Ты нарочно завел нас в такую темень, где не увидишь даже кончика своего носа, старый пройдоха, – выругался Грити.

– О достойный, – всплеснул руками Синам-ага, – то, что уже продано и зовется «сахих», принадлежит тому, кто купил, и зовется «мюльк», и никто без согласия хозяина не смеет взглянуть на его собственность. Так говорит право шариата. Так мог ли я не спрятать то, что надо было скрыть от всех глаз, чтобы соловей не утратил разума от свежести этого редкого цветка северных степей? Он вырос там, где царит жестокая зима и над замерзшими реками веют ледяные ветры. Там люди прячут свое тело в мягкие меха, оно у них такое же мягкое...

Они уже были около светильников, но не видели ничего.

– Где же твой цветок? – сгорал от нетерпения Грити.

– Он перед тобой, о достойный.

Ибрагим, у которого глаза были зорче, уже увидел девушку. Она сидела по ту сторону двух светильников, кажется, под нею тоже был коврик, а может, толстая циновка; вся закутана в черное, с черным покрывалом на голове и с непрозрачным чарчафом¹⁸ на лице, девушка воспринималась как часть этого темного, затхлого пространства, точно какая-то странная окаменелость, призрачный темный предмет без тепла, без движения, без малейшего признака жизни.

Синам-ага шагнул к темной фигуре и сорвал покрывало. Буйно потекло из-под черного шелка слепящее золото, ударило таким неистовым сиянием, что даже опытный Луиджи, которого трудно было чем-либо удивить, охнул и отступил от девушки, зато Ибрагима непостижимая сила как бы кинула к тем дивным волосам, он даже нагнулся над девушкой, уловил тонкий аромат, струившийся от нее (заботы опытного Синам-аги), ему передалась тревога чужестранки, ее подавленность и – странно, но это действительно так – ее ненависть и к нему, и к Грити, и к Синам-аге, и ко всему вокруг здесь, в затхлом мраке Бедестана и за его стенами, во всем Стамбуле.

– Как тебя зовут? – спросил он по-гречески, забыв, что девушка не может знать его язык.

– У нее греческое имя, эфенди, – мигом кинулся к нему Синам-ага. Анастасия.

– Но ведь в ней нет ничего, что привлекало бы взгляды, разочарованно произнес Грити, уняв свое первое волнение. – Ты, старый обманщик, даже ступая одной ногой в ад, не откажешься от гнусной привычки околпачивать своих заказчиков.

– О достойный, – снова заскулил Синам-ага, – не надо смотреть на лицо этой гяурки, ибо что в том лице? Когда она разденется, то покажется тебе, что совсем не имеет лица из-за красоты того, что скрыто одеждой.

¹⁷ Бейэфенди – глубокоуважаемый господин.

¹⁸ Чарчаф – покрывало для лица.

– Так показывай то, что скрыто у этой дочери диких роксоланов! Ты ведь роксолана? – обратился он уже к девушке и протянул руку, чтобы взять ее за подбородок.

Девушка вскочила на ноги, отшатнулась от Грити, но не испугалась его, не вскрикнула от неожиданности, а засмеялась. Может, смешон был ей этот глазастый турок с толстыми усами и пустой бородой?

– Не надо ее раздевать, – неожиданно сказал Ибрагим.

– Но ведь мы должны посмотреть на эту роксоланку, чтобы знать ее истинную цену! – пробормотал Луиджи. Он схватил один из светильников и поднес его к лицу пленницы.

– Не надо. Я куплю ее и так. Я хочу ее купить. Сколько за нее?

Незаметно для себя он заговорил по-итальянски, и то ли эта странная девчушка поняла, о чем речь, то ли хотела выказать свое возмущение нахальным присвечиванием, к которому прибегнул Грити, она громко, с вызовом засмеялась прямо в лицо Луиджи и звонким, глубоким голосом бросила ему фразу на языке, показавшемся Ибрагиму знакомым, но непонятным.

– Что она говорит? – спросил он у Грити.

– Квод тиби, мулиер? – не отвечая обратился Луиджи к девчушке на том же языке, отводя руку со светильником и приглядываясь к ней теперь не только с любопытством, но и с удивлением.

Но девчушка, выпалив свою странную фразу, снова засмеялась и уже не говорила ничего больше, с некоторым даже пренебрежением сморщила свой хорошенький носик и заслонила белой рукой от светильника, который Грити вновь приблизил на расстояние слишком неприятное.

– Вообразите себе, она говорит по-латыни! – воскликнул Грити, обращаясь у Ибрагиму.

– Что же тут странного? Она, наверное, училась у себя дома. Мы ничего не знаем о ней. Может, она из богатой семьи.

– Вы не знаете, что именно она сказала!

– Что же именно?

– Это один из канонических вопросов католических священников, исповедующих женщин. Довольно грубый и непристойный для столь нежных уст.

– А в устах ваших священников он не кажется вам слишком непристойным?

– Они исполняют свой долг. И они грубые мужчины. А это нежное создание. Ты, вонючий барышник, – крикнул он Синам-аге, – что за товар нам подсовываешь? Где купил эту беспутницу? Из-под какого просмердевшего развратника ее вытащил?

– Валлахи! – приложил руку к груди Синам-ага. – Эта девушка чиста, как утренний цветок, искупанный в росе. Она так же нетронута, как...

– Я покупаю ее, – прервал его разглагольствования Ибрагим.

– Бей эфенди верит старому Синам-аге?

– Я покупаю эту девушку, – повторил Ибрагим уже с нетерпением. Сколько за нее?

– Пятьсот дукатов, бей эфенди, – быстренько проговорил Синам-ага.

– Даю тысячу, – небрежно кинул Ибрагим.

– Бей эфенди хочет назвать двойную цену? Но это надлежит делать мне. Купец должен называть двойную цену, чтобы дойти до истинной не торопясь, поторговавшись всласть и вволю, иначе как можно сберечь себя для служения делу, на котором держится мир?

– В самом деле, – вмешался несколько удивленный таким ходом их приключения Грити, – она обошлась мне, как свидетельствует Синам-ага, всего лишь в пятьсот дукатов. Ясное дело, старый негодник обманывает нас, как он это всегда делает, – ведь за такие деньги можно купить трех черкешенок из княжеского рода, но пусть уж будет так.

– Я хочу, чтобы Синам-ага заработал, поэтому даю тысячу. – Ибрагим заслонил собой девушку от Грити и турка, шагнул к ней, она засмеялась ему еще более дерзко и с еще большим вызовом, чем перед тем Луиджи. Смеялась ему в лицо неудержимо, отчаянно, безна-

дежно, стряхивала на него волны своих буйных волос, полыхавших золотом неведомо и каким, райским или адским, не отступала, не боялась, выпрямилась, невысокая, стройная, откинула голову на длинной нежной шее, рассыпала меж холодных каменных стен Бедестана звонкое серебро прекрасного голоса: «Ха-ха-ха!»

Ибрагим вздрогнул от мрачного предчувствия, но поборол это движение души, заставил себя улыбнуться в ответ на смех загадочной чужестранки, которая не плакала, как все рабыни, не стонала, не ломала в отчаянье рук, а смеялась, точно издеваясь не только над ним, но и над всем этим жестоким миром, стремившимся покорить ее, сломать, уничтожить. Ибрагим заговорил с ней на ломаном языке – смеси из славянских слов, выученных от султана Сулеймана, хочет ли она к нему, именно к нему, а не к кому-либо другому. Девушка умолкла на мгновение. Словно бы даже посмотрела на Ибрагима пристальнее. Хотела ли бы? Еще может кто-то спрашивать в этой земле, хотела ли бы она? Ха-ха-ха!

Ибрагим сухо приказал Синам-аге привести рабыню к нему на Ат-Мейдан, повторил, что заплатит за нее тысячу дукатов, предупредил, чтобы сегодня же к вечеру она была в его доме и чтобы ей не было причинено ни малейшего вреда. Потом поблагодарил Грити.

– Я никогда не забуду этой вашей услуги.

– Могу только позавидовать вашему утонченному вкусу! – воскликнул венецианец. – Эта Роксолана, как я ее называю, пожалуй, действительно нечто такое... – он покрутил пальцами у себя перед глазами. – Как опытный купец, могу сказать вам, что товар приобретает ценность также от цены, какая за него уплачена.

Ибрагим молчал. Быстро выбирался из темного перехода. Чувствовал себя таким же опозоренным, как тогда, когда его, маленького мальчика, продавали на рабском торге в Измире. Правда, теперь покупал он, но разве не все равно? Есть рабы, которые покупают, и рабы, которых покупают. Но все равно рабы. И спасения нет никакого. Он пытался спастись нарядами, роскошью, которой окружал себя благодаря щедрости Сулеймана, считал, что этим облегчает себе жизнь, упорно уговаривал себя, что жизнь, в конце концов, и не может быть тяжелой, раз она называется жизнь. А зачем? Пусть тот старый мошенник Синам-ага обманывает людей, ибо таково его призвание на этой земле, пусть покупает и продает все на свете Луиджи Грити, поскольку он купец, но зачем же тогда убеждать себя в том, во что никогда не поверишь?

Рогатин

Дождем, как слезами, заливало весь видимый и невидимый мир, и душа ее вся плавала в слезах. Она шла, бездомная сирота, несчастная пленница, проданная и проклятая, под чужим небом, прочищенным ветрами, безжалостным и бледным, как холодные глаза стрелков-лучников. Здесь не было дождя, он лил, как слезы, в ее душе да еще там, куда не было возврата, в таком далеком, что сердце вырывалось от отчаянья из груди, недосыгаемом, навеки утраченном Рогатине.

Что-то темное, большое и страшное – зверь поднебесный, призрак налетело на нее, надвинулось, и голос дождя звучал в ее сердце как невозместимая горькая утрата. Ничего и никогда в жизни не увидишь лучше и милее, не переживешь уже того, что пережила когда-то.

Призраки были здесь, а позади все только настоящее – лишь протяни руку, а тут обман, ненастоящесть падали под ноги, летали в воздухе, выступали из стен, толпились в просмердевших нечистотами улочках, сновали неслышно, как клубки шерсти, а то вдруг прорывались диким мяуканьем – то ли кошачьим, то ли дьявольским. Но дьяволами должны были быть люди, а мяукали кошки, тысячи кошек повсюду, кошек, кошечек, изнеженных и избалованных, безнаказанных и неприкосновенных, ибо кошка была любимым животным их пророка.

А может, это неизбежная кара за то, что осталось там, за морем, за степью, за реками и лесами? Может, и не за ее собственные грехи – она еще не успела их нажить, – а за грехи давно умерших, несчастных, проклятых, заблудших? Нелепость, нелепость! Неужели и теперь должна пугать сама себя, как делал это ее татусь в Рогатине? Батюшка Лисовский в пьяном бреду запугивал грехами и грозил карами всем без исключения, он цеплял грехи ко всему существу, даже к деревьям и камням, не признавая их лишь за самим собой, ибо не мог отличать в своих поступках грешного от праведного, обреченный на постоянное опьянение если не от молитв в церкви Святого духа, то от пива и горилки рогатинских пивоваров Квасницы, Якубовича и Роздольского.

В ее крови были неистовость отца и легкий нрав матери. Гнездились это у нее в душе в таком беспорядке, что даже строгий учитель Иероним Скарбский, к которому посылал ее Гаврило Лисовский в ожидании чудес от своей единственной дочери, не смог навести в той душе хоть какой-то порядок, а, наоборот, еще больше взбудоражил все то, что до времени было приглушено, жило только в зародыше, еще и не проклевываясь к жизни. Жертва темных сил, безвременная мученица (как будто для мук человеку непременно должно быть определено какое-то время!), лишённая свободы, которую если еще и сберегла, то разве что глубоко в сердце и в своей неукротимости. Щедро одаренная волей к жизни, она не имела теперь даже такой свободы, какой обладала всякая паршивая кошка на улицах Стамбула.

Пережила утрату матери, которую четыре года назад взяла в плен орда так же, как теперь ее самое, бесследно исчез несчастный отец в пылающем Рогатине, пережила собственную смерть или какое-то подобие смерти, чтобы теперь воскреснуть, как на старенькой иконе в отцовской церкви Святого духа, но не в таинственном сиянии святости, не для поклонений вопящей от восторга, одуревшей от чуда толпы, а для прозябания понурого, почти животного. Единственное, что она могла, – это возвращаться без конца памятью в родной Рогатин, к крутым тропкам со щекочущим спорышом по сторонам, к густому малиннику за раскидистой грушей, которая зимой грустно чернела среди снегов, а летом накрывала зеленым шатром чуть ли не всю усадьбу Лисовских. И дом свой видела с крутых улиц Стамбула так явственно, словно стояла перед ним, дом из толстых сосновых бревен, просторный, с окнами на высокий ольшаник, за которым внизу бежит Львовская дорога, упираясь возле вала под горой в Львовские ворота со старым перекидным мостом через ров, а во рву буйство лопухов, лягушки блаженствуют в вечных дождевых лужах, змей и ужей скапливается такое множество, что вот-вот

поползут они на Рогатин. Отец Гаврило Лисовский, коему не раз приходилось ночевать во рву и которого змеи не трогали, словно считая своим, предрекал для Рогатина кару иную, столь же тяжелую, как для библейских Содомы и Гоморры, потому что после этих двух третьим городом, который бог хотел убрать с лица земли, был именно Рогатин, спасенный случайно, но от кары не избавленный. Как ни пугал своих прихожан пьяненький попик, приношений и пожертвований на церковь было слишком мало, чтобы держаться батюшке Лисовскому среди первых граждан Рогатина, а потому на усадьбе вечно хрюкали огромные свиньи, хищные, как лесные вепри, прожорливые, чавкающие, визгливые. Мама Александра с утра до ночи пекла ячменные коржи, ломала их еще горячими, замешивала в деревянных бадьях пойло, носила, надрываясь, в свинарник тем ненасытным тварям, они мгновенно пожирали принесенное, грызли бадьи, прогрызали доски загородок, выставляли хищные рыла, высовывали длинные тонкие розовые языки, заходились в неистовом визге. Ада, которым отец пугал всех вокруг, Настася не боялась еще с тех пор, как только стала понимать слова взрослых людей – видела тот ад ежедневно, жила в нем вместе с несчастной своей матерью.

Свиней Лисовский продавал на знаменитой Рогатинской ярмарке, куда стогнали тысячи голов скота, овец, свиней, коз, а покупать съезжался люд из Галича, Львова, Сандомира, из самой Литвы и чуть ли не из Киева. Батюшку Лисовского в шутку называл тот ярмарочный люд «отцом свинопаственным». Но разве мог он бояться каких-то там слов, если сам умел пугать людей словами торжественными, загадочными, темными! Задира бородку, раздувал ноздри, грозился сухоньким пальчиком, похожим на кривую веточку: «Но своемненно паче же реши, не зная сущаго положеннаго разума». Мама Настаси не очень и тяготилась своим каторжным трудом. Тоненькая и маленькая, вытаскивала из печи черные казаны, месила колючие ячневика, обваривала по локти руки в кипятке, и все это со смехом, в непостижимой радости, с припевками то веселыми, то грустными, например: «Ой, кувала зозуленька, тепер не чувати: ой, де я ся не родила, мушу привикати...» А отец Лисовский все грозился неминуемостью кары для Рогатина и рогатинцев, хотя его маленькая Александра и не была местной, а родилась за Прутом, в селе Княж-Двор, где росли неведомые рогатинцам тысячелетние тисы, деревья вечные и оттого словно бы какие-то угрюмые и нечеловеческие в своей мощи и красоте. А все дети якобы рождались там от заезжих князей, которые, охотясь в окрестных пущах, влюблялись в княжеских девчат и оставляли по себе сладкие воспоминания той кратковременной любви. Князей уже давно не было, а воспоминания оставались, и Александра, чтобы досадить своему безродному попику, называла себя княжной да еще дразнила его тем, что якобы и Настася не его дочь, поскольку за девять месяцев до ее рождения по зимней пороше наскочил на рогатинские леса с кавалькадой охотников сам король польский Зигмунт, и попала тогда ему на глаза она, Александра княжеская, и понравилась она королю, и... «Королевна! – радостно восклицал пан-отец Лисовский, прижимая к себе маленькую дочку. – Моя доченька – королевна, прошу я вас! Она колыхалась у меня в серебряной колыбельке, а ездить будет в серебряном возке!» Серебряная колыбелька, по которой выбиты цветы и травы, существовала лишь в пьяном воображении Гаврилы Лисовского, старенькая же деревянная люлька, в которой когда-то перебирала ножками Настася, валялась среди хлама в темной кладовушке, но ведь намного веселее и легче жить с легендой, особенно в таком городе, как Рогатин, который и сам возник из легенды. Говаривали, якобы когда-то Галицкий князь Ярослав Осмомысл охотился тут в древних пущах с дружиной воинов своих и полюбовницей Насткой Чагровой, женщиной красивой и дико своенравной. Настка, погнавшись за каким-то зверем, заблудилась в лесу и, совсем уже потеряв надежду на спасение, вдруг заметила гигантского оленя-рогача, невиданной огненной масти. Олень тряхнул рогами, топнул ногой, словно приглашая за собой женщину, медленно побежал в чашу, лишь высокие рога обозначали его путь, и Настка погнала за ним своего коня. Так и вывел олень ее к стойбищу Ярославову, упала она, заплаканная и измученная, в объятия князя, а олень исчез, как дух святой. На том месте Ярослав велел зало-

жить церковь Святого духа, а впоследствии вокруг церкви возник город, названный Рогатином в честь того рогатого спасителя оленя. Может, и дочку свою Лисовский назвал Настасей в память о той далекой Настке, княжеской полюбовнице, хоть та Настка была счастливой только в легенде, а на самом деле смерть приняла мученическую – на костре, в который бросили ее жестокие галицкие бояре.

Ох, какой безалаберный был отец Гаврило! Исступленно любил свою маленькую женушку и обрек ее на вечную каторгу с прожорливыми свиньями. Гордился дочкой, мечтал обучить ее высшим наукам, хотя сам едва умел прочесть наизусть две молитвы и не мог отличить псалтырь от требника, и готов был даже отказаться от отцовства в пользу едва ли не самого короля польского – только бы все знали, кто растет в доме батюшки Лисовского и в этом благословенном и проклятом Рогатине! Да и сам Рогатин, как и его беспутный сын Гаврило Лисовский, тоже стоял над столетиями своего происхождения и существования какой-то словно бы раздвоенный: с одной стороны – роскошная княжеская легенда о чудесном спасении заблудшей души, а с другой – почти содомская легенда о Чертовой горе, которая высится на восток от Рогатина, точно мрачный курган, насыпанный нечеловеческой силой на равнине. Потому что рогатинцы хоть и построили свой город вокруг церкви Святого духа, но, видимо помня о греховной связи князя Осмомысла с распутной Насткой, сами пустились в распутство столь тяжелое по тем давним временам, что бог разгневался, призвал к себе черта и велел ему засыпать грешный город землей, чтобы и следа никакого не осталось. Черт набрал полную бесовскую свою торбу черной-пречерной земли и понес к Рогатину. Но то ли заблудился, то ли лень его одолела, но землю он ту не донес до Рогатина – как раз в это время прокукарекал петух, нечистый испугался, бросил землю, где был, и исчез. На том месте выросла Чертова гора. И теперь каждую весну детвора бегала туда рвать горицвет весенний, руту-мяту и синяк красный, и как упрямо ни перепыхивал тропинки Кузьма Смыкайло, поле которого было под Чертовой горой, их протаптывали вновь и вновь в тех же местах, где были они испокон века, и отчаявшийся Кузьма, проклиная всю бесовскую силу, каждую осень выставлял свою землю на продажу, но никто не хотел покупать, – как ее купишь, если она под самой Чертовой горой!

Гаврило Лисовский был убежден, что Рогатина не минует предначертанная ему судьба. «Черт не донес ту гору – бог донесет! – восклицал он на Рогатинском рынке. – Кара! Кара!»

У него были огненные волосы, пылали пламенем усы и борода, кожа на лице и на руках тоже была как бы красной, будто он только что выскочил из пекла. Настася унаследовала от своего отца огненные волосы, а от матери ослепительно белую кожу, нежную и шелковистую не только на ощупь, но и на вид. Красота матери не передалась Настасе, но девочка этим не печалилась уже знала, какая морока с той красотой у ее маленькой мамуси. Как ни изматывалась Александра с батюшкиными свиньями, а выходила в ярмарочные дни или в праздники на Рогатинский рынок, надев белый, разукрашенный вышивкой сардак¹⁹, обув красные сафьяновые сапожки, выложив на высокую так и рвала сорочку – грудь несколько ниток кораллов, и мужские взгляды просто липли к ней, а кто понахальнее да посамоувереннее, тот откровенно заигрывал. Особенно надоедали писарь рогатинский Шосткевич, богатый сапожник, изготовлявший сафьяновые сапожки, Захариалович да еще голодранец шляхтич из Подвысокого Бжуховский, здоровенный, мосластый, с торчком поставленными усами, с толстенными руками, свисавшими из обтрепанных рукавов кунтуша²⁰, в рыжих от старости сапогах, слишком тесных для его огромных шишковатых ног. Лисовский бросился как-то защищать жену от настырного шляхтича, но тот пренебрежительно отстранил ничтожного попаика своею ружицей, процедив сквозь зубы: «Ты, поп, не вертись у меня под ногами, не то растопчу!»

¹⁹ Сардак – верхнее теплое суконное платье галицких крестьян, расшитое шнуrom.

²⁰ Кунтуш – верхняя одежда, мужская и женская.

– Такой облик должен быть у дьявола, – показывая на Бжуховского, закричал отец Гаврило своей маленькой дочке. – Доподлинно такой, Настася! Знай и помни, дитя мое!

Если бы! Теперь убедилась, что дьяволы тысячелики. Часто и не знаешь, где они и какие. Бжуховский был слишком простецкий черт. Не умел ни скрыть своей драчливости, ни хотя бы приглушить ее. Потом прибыл от Сандомирского воеводы, старосты земель русских, шляхтич Бобовский с жолнерами и стал собирать в окрестных селах подати и недоимки. Наскочили и на Бжуховского, у которого в Подвысоком был дом, а землю он давно пропил и жил то охотой, то грабежом, коему открыто предавался с еще двумя-тремя такими же забубенными головушками, как и он сам. Бобовский стал требовать от Бжуховского, чтобы он уплатил подать, а тот податей не платил никогда и никому. И это бы еще не беда, да шляхтич в запальчивости назвал Бжуховского Бруховским, то есть приравнял к обычному хлоп-русину. Этого уж простить Бжуховский не смог бы ни пану, ни богу. На ночлег Бобовский остановился в господском доме на Подвысоком, а среди ночи туда ввалились какие-то трое. Слуга Бобовского сказал им, что здесь ночует сам пан шляхтич. Один из прибывших взял саблю и канчук Бобовского, вскочил в комнату, где тот спал, и стал бить сонного. «Вставай, сукин сын!» Вбежали еще двое, выволокли пана шляхтича в переднюю за волосы, били палками, его же собственным мушкетом, отливали водой, снова били. Бжуховский, который тоже прибыл на расправу, кричал из сеней: «Бейте хорошенько, только не грабьте! Пусть знает, какой ему хлоп Бжуховский!» Кто-то выстрелил Бобовскому в голову. Обмазали мертвому лицу его же собственным дерьмом, ничего из вещей не взяли. А слуге сказали: «Скажи – убили его за то, что с паном Бжуховским обошелся как с хлопом, а не как с шляхтичем. Чтобы все знали и помнили!»

– Мог бы и тебя, татусю, вот так же убить этот Бжуховский, – испуганно говорила Настася отцу, – за мамусю вот так бы и убил!

– Меня бог хранит! – выпячивал грудь батюшка. – Божья ласка нисходит на праведных, а всех грешников ждет геенна огненная! Бжуховского же первого!

Но, видимо, геенна огненная была приготовлена для всего Рогатина, потому что не проходило и трех-четырех лет, как на город нападали черные силы, жгли, грабили, убивали, забирали в плен всех, кто не успевал укрыться в лесах возле Гнилой Липы и за Чертовой горой. Батюшка Лисовский, несмотря на постоянное пребывание под хмельком, всякий раз избегал со своими домашними погромов, скрывался в дальнем лесу у Гнилой Липы, куда убегали через Львовские ворота, потому что черные силы всегда врываются в город через ворота Бабинецкие или Галицкие. Мама Александра, как бы предостерегая дочку, напевала ей уже не веселые и беззаботные песенки, а песни такие же страшные, как набеги чужеземцев на их несчастный город: «За синім морем, над новим двором, Настася сорочку шиє. Шиє, вишиває і на двір поглядає. «Миколайчику, братику, що там так синіє? Ци ратаєньки орють, ой, ци волики пасуть?» – «Ой, Настасю, сестро, не ратаєньки ідуть і не волики пасуть, оно по тебе, Настасю, туроньки ідуть». – «Ой, Миколайку, братику, найми же ти кухароньку, а я сховаюся під дев'ятеро дверей, під десятій замок». Наїхали туроньки, стали Настасю шукати... Настасина хустонька, но не Настасина голівка; Настасині пацьори, но не Настасина шия; Настасина суконька, но не Настася сама; Настасині панчошки, но не Настасині ножки, Настасині черевички, но не Настасин хід. Стали двері ламати, Настасю добувати; дев'ятеро дверей зламали і Настасю достали...» И плакала мама, словно предчувствуя долю и свою, и своего дитятка.

Где-то в далеких краях жили страхи, мор падал на людей, сотрясалась земля. Сам султан турецкий Баязед, боясь землетрясения, вышел за каменные стены Царьграда, жил в шатре на поле, а в Царьграде рухнули три башни, разрушился дворец Константина Великого, сотрясало землю в Тракий, Боснии, Далмации и даже в близкой Валахии. Кара на людей, а за что?

Настася была еще совсем маленькой, когда напали на Рогатин валахи. Грабили и жгли, как татары и турки, вывезли из Рогатина все ценности, даже сам польский король разгневался и заставил волахского воеводу Стефана вернуть награбленное, и среди всего другого были воз-

вращены все ценные книги, также и серебро из церкви Святого духа; хотя отец Лисовский, не зная грамоты, не мог составить описи всего церковного имущества, но помнил все так, что с его слов была составлена бумага, по которой валахи и вернули украденное. А было там три чаши позолоченных, три белых, всего чаш восемь, а в них серебра шестнадцать гривен и пять и пол-лута²¹, а еще кресты, кадильницы, лампы, пожертвования – на сорок три гривны и тринадцать лутов серебра. Кроме того, Евангелий в оправе три, служебников в оправе три, Псалтырь и Часослов, Триодь цветная, октоих да еще четыре книги, названий коих запомнить он не в силах, ибо великой мудрости книги. Надеялся, что дочка выучится грамоте, постигнет все известные и доступные в Рогатине науки и тогда прочитает те редкостные книги, которые собрались в его церкви за много веков.

У священника Ивана Теребушка училась Настася читать. Теребушкова наука обошлась Лисовскому в целую свинью. «Свинью целую положил на свою Настасю, прошу я вас!» – восклицал отец Гаврило. Он плакал, растроганный, глядя на свое теперь уже ученое дитя. «Мал-жонка моя верно-милая уродила мне со мною сплуженую дочку панну Настасю, первую в городе моем, которая во всем теле своем, тако в лице, яко и в знаках, которые у меня, притрафила и уродила». Но в пьяном хвастовстве, попирая собственное достоинство, упорно величал дочку королевной, а достаточно ли для «королевы» мизерной науки, почерпнутой у Теребушка? Еще бы набраться ей и добрых обычаев да наук высоких, а дать все это в Рогатине мог единственно викарий Иероним Скарбский. Когда же отец Гаврило сунулся к викарию, тот заломил цену уже не в одну свинью, а в целых шесть. «Шесть свинок за науку его латинскую! – потрясал маленькими кулачками отец Лисовский. – За язык славянский свинью одну, а за латину целых шесть? А язык же славянский правдой божьей основан, построен и огражден-есть, в латинском же только лжа, поганская хитрость и фарисейство сидит, почивает и обладает!» Но кто же еще в Рогатине мог похвалиться тем, что положил на всю науку для своего дитятка одну, а потом целых шесть откормленных свиней? И мог ли уберечься от искуса похвалиться таким деянием на протяжении всей своей жизни батюшка Гаврило Лисовский? Ведь и оправдание было под рукой. Ибо разве же проживешь с одним Часословом? Без латыни не поймешь ни судьи, ни стряпчего, ни посла. И Настася стала ходить на усадьбу к викарию Скарбскому. Он ошеломил маленькую девочку огромностью своих знаний, суровостью ума. Его небудничность поражала и оглушала. Одевался, как никто в Рогатине, высокий, тонкошей, с грустными темными глазами, с тихим голосом, равнодушный к мирским утехам, далекий от мелочей и суеты, он поразил Настасю в самое сердце, и она влюбилась в него не так, как доньне влюблялась в сопливых мальчишек, с которыми носилась босиком то на Чертову гору, то в отцову церковь разглядывать причудливые древние иконы с боролатыми святыми.

Мордастая Урсуля, дочка городского слесаря Блазея Зебриновича, узнав про Настасину влюбленность, безжалостно высмеяла подругу:

- Да ведь тот Скарбский ни на что не способен!
- Как это? – возмутилась Настася.
- Еще и голомордый!
- Сама голомордая.
- А видишь, как он ходит? Разве мог бы он от татар убежать?
- Зачем ему убежать? Он ни от кого не станет убежать!
- Так где же он будет?
- А тут и будет!
- Вот бы я поглядела!
- Поглядишь, если захочешь.

²¹ Лут – мера веса.

И словно бы накликали своими безрассудными разговорами тяжкую беду. Писал летописец про тот год: «Татар сорок тысяч с четырьмя царьками на Русь вторгнулись и положились недалеко Бузска кошем, а отряды по всем сторонам распустили, палячи, вяжучи, убиваючи, в неволю беручи, и больше нежели шестьдесят тысяч люда тогда забрали в неволю, кроме детей, а старых обезглавливали и на миль сорок волости вдоль и вширь огнем и мечом завоевавши, домой вернулись в целости».

Схватили татары и Настасину маму, сгинула она навеки, а викарий Скарбский сбежал прежде всех и быстрее всех – у него всегда пара коней была готова на такой случай и люди верные, сообщавшие, откуда налетает орда. Отец Лисовский выезжал из Рогатина в села крестить детей. Там и спасся. А Настасю с мамой налет застал на усадьбе. Мама только успела втолкнуть малышку в свинарник. «Дитятко мое, спасайся!» А потом темный топот, гогот, свист стрел, свиньи металась, погибая, подплывая кровью, валились тяжело на девочку, и – темный топот, потемнело все, снова мамин крик, и снова топот, и едкий смрад конского пота, а она задыхалась среди луж крови – своей собственной или убитых животных? Отец прибежал лишь ночью. Упал на колени. Плакал, и молился, и проклинал. Осталась без мамы, спасенная мамой. Тьма поселилась в Настасиной душе с того дня, и хоть смех со временем снова пробивался наружу, но был уже не такой беспечальный, беззаботный, как при маме, про влюбленность свою в сурового наставника и не вспоминала, да и какая там влюбленность в одиннадцать лет!

Тайком пробирались в костел святого Николая, когда ксендз Станислав Добровлянский исповедовал рогатинских мещанок. Урсуля, Янечка и Настася прижимали уши к деревянной решетке, прислушивались к бормотанию пана Станислава: «Фецисти квод кведам мулиерес фациере солент квандо либидинем се вексантем экстингере волонт?..»²² Думалось ли, гадалось во время тех дерзких забав, что придется ошеломить этим грязным вопросом из католического пенитенциалия чванливого Луиджи Грити на стамбульском Бедестане?

Разруха воцарилась в городе, страх и неуверенность, чуть ли не каждую ночь рогатинцы убегали в леса, хватая из имущества что придется. Мошко Шаев, хозяин каменного дома с подвалом на рынке, прятал от татар деньги под камнем, а Василь Чуйчишин видел и украл. Рассказала об этом Марунька Голод, жившая в халупе возле большака Галицкого. Однако на суде Марунька отказалась от показаний, из-за чего Шаева заставили извиниться перед Василем Чуйчишиным такими словами: «Жаль мне, что я это содеял, такие слова с гневом сказал, когда о вас ничего плохого не знал. Прошу вас, во имя бога, чтобы мне это простили». И все равно Шаева посадили в башню, где он должен был отсидеть неделю за поклеп.

Отчаянье от утраты матери постепенно проходило, мир вокруг большой, зеленый, прекрасный. Зло отступало до отдаленнейших горизонтов воображения, нужно было жить и любить, чтобы не погибнуть, смеяться и напевать парням, собирать цветы возле Липы и Свиржа, прислушиваться к лесным шелестам, как к собственному дыханию, жить среди неприступных, исполинских буков, ласковых лещин, притаившихся под листьями грибов, ярких твердых ягод. Часто в те годы шли дожди. Она убегала тогда из дому, блуждала в одиночестве по лесу, там было живое дыхание буйной зелени и ощущение неудержимой силы прорастаний, бесконечности и легучести тела и духа. А может, это она росла и ей хотелось туда, где это ощущалось всего острее?

Когда-то была ежиком под кленовым листочком, мама называла ее солнышком, отец – королевной, напевала себе песенки, подпрыгивая на одной ножке, высывала от удовольствия язычок, показывая белому свету: «Вот!» Не терпелось ей поскорее вырасти, рвалась из детства, как из тенет. Куда и зачем?

Теперь чувствовала себя взрослой, кровь струилась в ее сильном, гибком теле, неизъяснимое томление нападало внезапно, почти так же, как настырные братья Бабьяки, скрытные

²² Поступала ли ты, как другие женщины, для удовлетворения своего вожеления?(лат.).

и злые, как маленькие собачонки: то прожгут штаны на портном Яне Студеняке, то дернут за бороду самого райцу Голосовского, то украдут котел у лудильщиков-цыган, то прижмут какую-нибудь из девчат, чудом она спасется. От Бабьяков Настася убежала, не поймали ни разу, но разве она знала, от кого бежит? Наверное, пришло для нее такое время, пора приспела, когда толкает тебя какая-то сила к людям, а ты выбираешь одиночество. Наверное, и спаслась благодаря своей странной привычке убежать из дому по ночам.

Татары налетели на Рогатин ночью, прокрались тишком сразу через все ворота. Запрудили все улицы, окружили все дома, лавки и церкви, а потом подожгли весь Рогатин, выгнав людей из помещений, – привыкли убивать и хватать на просторе. Колокола в церквях Богородицы и Святого духа ударили и захлебнулись. Рогатин запылал багряно и безнадежно. Настася побежала сначала домой, потом вниз, к отцовской церкви, увидела запряженный воз возле церкви, да не суждено уже было отцу Лисовскому вывезти этой подводой церковные ценности, потому что когда бежал к возу с тяжелой шкатулкой в руках, появился на пути черный всадник, а перед Настасей – другой, пламя ударило отовсюду, уже и не видела она, живой упал несчастный и одинокий ее отец или мертвый и сожгли ли старую церковь с иконами и ризами. Ничего не видела и не слышала, очнувшись на том самом возу, но катился он уже не пылающими улицами Рогатина, а Бабинцами, а потом все дальше и дальше, на Валашский шлях, прозванный татарами Золотым за неисчислимую добычу, которую захватывали на нем. Туманы Днестра и Прута оставались в стороне, потоки и растоки зеленого края, воды белые и черные, дожди и птичий щебет лесной – все оставалось позади, навсегда, навеки. Только топот копыт и свист стрел в степи, травы жесткие и земля твердая, как отчаянье. Белым телом земля проборонована, кровью залита, копытами конскими вспахана. «Із-за гори-гори, теменького лісу татари ідуть, русиначку ведуть. У русиначки коса з золотого волоса, – щирій бір освітила, зелену діброву і биту дорогу. А за нею біжить в погоню батенько її. Кивнула-махнула білою рукою: «Вернися, батеньку, вернися, рідненький, уже ж мене не однінеш і сам, старенький, загинеш. Занесеш голову на чужую сторону, занесеш очіці на турецькі границі!» Ее везли на отцовской подводе, потом на черной арбе татарской, укрытую от солнца, окруженную заботой и вниманием, хотя рядом гнали закованных в железо таких же, как она, и намного красивее, чем она. Потом было море – горы враждебной воды, тьма таинственных чужих просторов, полных загадочности, грозно и враждебно припавших к обычному миру земли. Был страшный невольничий рынок в Кафе, где ее продали Синам-аге, и снова Черное море, где лучше бы ей было утонуть, но она не утонула – осталась жить дальше.

Жить? Зачем? Надежды умерли в ней давно, молитвы, какие знала с детства, порастеряла все до единой, существовала теперь в сплошной униженности, в полубреду, в полусознании, но где-то в отдаленнейших глубинах души еще ощущая, что продолжает жить, что не умрет, что жить надо, надо, надо! Поэтому смеялась и пела на невольничьем рынке в Кафе, и на кадриге Синам-аги, и даже в темных дебрях Бедестана, когда ее продавали вторично и, может, навсегда.

Отара

Было в ней что-то особо привлекательное – то ли в неземном сиянии золотисто-красных волос, то ли в изящной, гибко-змеистой фигурке, если уж тот дикий татарский всадник даже ночью, в призрачном свете пожара, пленился ею так, что выделил ее из всех других пленниц и до самой Кафы вез как драгоценнейшее сокровище. Да и суровый викарий Скарбский, точно чувствуя клочкотанье огня в ее сердце, часто заводил беседы не только о спасении души, но и о теле, и она с удивлением отметила, что и сам бог признает плоть, эту одежду души, и что чем плоть лучше и совершеннее, тем довольнее должен быть таким человеком всевышний. «Плоть – значительная часть нашего естества, – говорил Скарбский. – Следует повелеть нашему духу, чтобы он не замыкался в самом себе, не презирал и не оставлял одинокой нашу плоть, а сливался с нею в тесных объятиях». От таких слов Настася невольно краснела, а суровый викарий, словно бы не замечая девичьего смущения, глядя поверх ее головы, продолжал: «Правосудие господнее предвидит это единение и сплетение тела и души таким тесным, что и тело вместе с душой обрекает на вечные муки или на вечное блаженство».

Если бы ей дано было выбирать, она выбрала бы только вечное блаженство, иначе зачем жить!

«Те, которые хотят отречься от своего тела, пытаются выйти за пределы своего естества и бежать от своей человеческой природы, – это безумцы. Вместо того чтобы превратиться в ангелов, они превращаются в зверей, вместо того чтобы возвыситься, они унижают себя...»

«Я не отрекусь, не отрекусь никогда, – клялась себе в душе Настася. – Не отрекусь и не унижусь!»

Когда же ступила на стамбульский берег, забыла обо всем. Шла за вереницей своих законных в железо несчастных подруг, шла свободно, будто турчанка, в шелковых широких шароварах, в длинной сорочке из цветистого шелка, в зеленом девичьем чарчафе, который закрывал ей лицо и волосы, в искусно расшитых, с загнутыми носками туфельках из позолоченного сафьяна, мостик качался на связанных бочках, брошенных в грязную воду, мир качался у Настаси перед глазами, огромный город поднимался перед нею округло-выпукло, бил червонностью солнца из множества оконных стекол, скорбно зеленел свечами кипарисов, нацеливал на нее мрачные башни древних стен, острия бесчисленных минаретов. Она шла вприпрыжку по тому шаткому мостику, вымевалась спиной, всем станом, молодая, гибкая, жадная к жизни, ступала на край этой чужой, страшной, враждебной земли, тоскливое стена-нье, как недавно на море, рождалось в ее душе, от отчаянья она, казалось, даже теряет зрение, но встряхивала упрямо головой, прыгала вперед, точно спасаясь от шарканья старческих ног Синам-аги позади себя: шарк-шарк! В воде залива – целые свалки, мусорные кучи, затонувшие гнилые доски, отбросы, собачья падаль, обломки дерева, облепленные ракушками, смрад. У воды раскопанная земля, топи, лужи, болота, гниль, затопленные сгнившие челны. А залив назывался Золотой Рог. Где же то золото и что тут золотое? Разве что солнце на небе, но как же оно высоко!

К Золотому Рогу бегут отлогие улочки, переплетенные между собой в мертвых объятиях, как утопленники, старые деревянные дома, украшенные густою резьбой, криво наклоненные друг к другу, вот-вот упадут. Улочка рассечена солнцем пополам – тень и зной, – так и шкварчит. Синам-ага велел вести полонянок по теневой стороне. Может, сожалеет, что не дождался вечера на кадриге, чтобы не выставлять свою добычу улицам на глаза? А улицы были заполнены одними мужчинами. На маленьких площадях, у фонтанов, в тени платанов, даже на солнце-цепеке, на каждом свободном месте мужчины сидели густо, как мухи, недвижимые и черные. Лишь уличные продавцы воды, миндаля, сладостей, жареного мяса слонялись между теми черными фигурами, что-то выкрикивали гортанно, клочкуще, словно бы задыхаясь, кормили и

поили те странно неподвижные, внешне спокойные – ни брани, ни драки, ни споров, ни голоса, ни ветра – толпы мужчин. Да и не могли они ни разговаривать, ни спорить, ни драться, ибо были предельно заняты: все ели, жевали, глотали, пили холодную воду, снова ели. Варенные в котлах кишки, вымя, потроха, сердца бараньи и воловьи, жирные кебабы, какие-то овощи, с которых стекал жир, – видно было по шеям, с какой жадностью глотают они огромные куски. И хоть бы кто-нибудь подавился! Испражнялись, недалеко и отходя. Смерд мочи, отбросов, смолы, дыма, чеснока, рыбы. Торговцы разносили еще и какие-то съедобные цветы, но куда там аромату цветов среди этой загаженности, среди этого жеванья, глотанья и испражнений! Ели ненасытно, стоя, на ходу, как кони или верблюды, и все неотрывно смотрели на белых женщин, которых гнали по улицам надсмотрщики Синам-аги. Взгляды бежали за женщинами, скользили по ногам, липкие, грязные, тяжелые, мужчины урчали, как коты, похоть била из их изленившихся фигур, – о проклятые самцы, твари, псы! Вот где женщина чувствовала, что за проклятие ее тело, вот где хотела если уж не взлететь пташкой в небо, то провалиться сквозь землю, хотя, пожалуй, и в земле не спасешься от тех взглядов, от тех страшных глаз.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.